

Старинная библиотека

Александра Анненская

ГУВЕРНАНТКА

Рассказы



Александра Анненская
Гувернантка. Рассказы

«Издательские решения»

Анненская А.

Гувернантка. Рассказы / А. Анненская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-500341-6

В последнее время книги забытой в советские годы дореволюционной писательницы Александры Анненской снова обретают былую популярность: как и 100 лет назад, её проникновенные повести и рассказы не оставляют равнодушными ни детей, ни их родителей. Эта книга включает в себя рассказы несколько раз переиздававшегося до революции сборника «Мои две племянницы», а также небольшую повесть «В чужой семье». Рассказ «Гувернантка» впервые публикуется в современной русской орфографии.

ISBN 978-5-00-500341-6

© Анненская А.

© Издательские решения

Содержание

Мои две племянницы	6
Надежда семьи	19
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Гувернантка Рассказы

Александра Анненская

Импринт «Старинная библиотека»

Редактор Сергей Корнев

Дизайнер обложки Вадим Конопкин

© Александра Анненская, 2019

© Вадим Конопкин, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-0050-0341-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Мои две племянницы

Когда мы с мужем постоянно жили в деревне, мы часто жалели, что у нас нет детей. Чтобы сколько-нибудь оживить свой тихий, скучный дом, мы обыкновенно каждый год приглашали к себе гостей на лето кого-нибудь из своих маленьких знакомых или родственников.

Прошлой весной я написала в Петербург к брату и к сестре, прося их отпустить к нам месяца на два детей их. В ответ на мое письмо брат сообщил мне, что его сыновья немного ленились зимой и поэтому должны будут усиленно заниматься на каникулах, а что дочь его охотно принимает мое приглашение; сестра писала мне, что ее младшие дети еще не вполне оправились от скарлатины и не могут предпринять далекого путешествия, но что она с удовольствием отпустит к нам свою старшую дочь.

Таким образом, вместо полдюжины шумливых гостей, нам пришлось ожидать только двух племянниц. Мы совсем не знали их. Я видала их, когда они были крошечными девочками, лет трех-четырёх, и не имела ни малейшего понятия ни о их характерах, ни даже о их наружности.

Тем с большим интересом ожидала я их приезда. Решено было, что они выедут вместе по железной дороге, в сопровождении одной знакомой мне старушки, ехавшей из Петербурга в свое имение, и что мы выйдем на ближайшую от нас станцию железной дороги экипаж, в котором они доедут до нашей усадьбы.

Имение наше лежит в восьмидесяти верстах от железной дороги, и хотя наш кучер Трифон вполне благонадежный человек, способный охранить от всяких опасностей маленьких путешественниц, я не могла отделаться от некоторого беспокойства в ожидании их.

Наконец, часов около семи вечера у опушки леса, окаймляющего наш горизонт с одной стороны, поднялось густое облако пыли, а затем на дороге показалась коляска и тройка лошадей.

Я выбежала на крыльцо встретить гостей.

Едва успел экипаж остановиться, как послышалось восклицание: «Ну, слава богу, наконец-то дотащились!» – и из коляски выпрыгнула девочка лет тринадцати. Увидя меня, она сконфузилась, растерялась и остановилась около подножки экипажа, видимо, не зная, что делать. От дороги костюм ее пришел в беспорядок: шляпка съехала на затылок, пальто, вероятно сброшенное нетерпеливой рукою, прицепилось к платью и висело сзади в виде шлейфа; вся она была покрыта пылью и вообще представляла довольно комичную фигурку.

Я подошла к ней, чтобы вывести ее из затруднительного положения, но в эту минуту навстречу мне спустилась с подножки коляски другая девочка, ростом несколько меньше первой, но представлявшая разительную противоположность с ней; одежда ее слегка запылилась в дороге, но вообще отличалась полнейшим порядком; сама она не выказывала и тени смущения; она подошла ко мне, смело положила ручку в мою протянутую руку и проговорила тихим, нежным голосом:

– Здравствуйте, милая тетенька! Папенька и маменька приказали мне кланяться вам и благодарить вас за приглашение.

Я поцеловала девочку, затем обняла и другую племянницу свою, не сумевшую сказать мне ни слова приветствия и молча отвечавшую на мои ласки.

К нам подошел муж.

– Ну, здравствуйте, милые племянницы, – сказал он, приветливо протягивая руки девочкам. – Извольте же рекомендоваться мне, а то я не знаю, как зовут которую из вас.

– Меня зовут Клавдия Горшева, – проговорила, слегка приседая, вторая из девочек.

– А меня Леля или Лена, как хотите, – отвечала первая, оправившись от смущения. Я помогла ей снять пальто и шляпу, и мы все вместе вошли в дом.

В мезонине¹ нашего дома были приготовлены две совершенно одинаковые комнатки для гостей. Я свела туда девочек, чтобы они могли умыться и оправиться с дороги, и просила их считать эти комнатки своими на все лето.

– Благодарю вас, тетенька, какая миленькая комнатка! – вскричала Клавдия.

– Да, и моя тоже очень хорошенькая, – подхватила Леля, – только какие маленькие окошечки и низенькие потолки! Так странно видеть после петербургских высоких комнат и больших окон.

Я оставила девочек одних, объявив им, что жду их внизу за самоваром. Не прошло и получаса, как они сошли в столовую.

Клавдия надела свежее платье, еще глаже прежнего причесала свои длинные белокурые косы и смотрела вполне чистенькой, аккуратной девочкой.

Лена только отчасти привела в порядок свои густые, темные кудри да вымыла лицо и руки, остальной туалет ее далеко не отличался чистотой.

Мы все уселись за столом, и там за чаем, к которому была подана обильная закуска, у нас пошли оживленные разговоры. Мы с мужем так давно не видали никого из родных, что интересовались всеми подробностями их жизни, а девочки говорили много и охотно.

Клавдия в подробности описала нам квартиру, которую занимало ее семейство, гимназию, где она училась, тяжелую болезнь, которую она перенесла зимой и от которой еще не вполне оправилась ее маленькая сестра.

Рассказы Лены вертелись, главным образом, около ее двух братьев, с которыми она, видимо, была очень дружна; она училась в женской гимназии, они оба – в мужской, и все свободное время проводили с сестрой; мать их умерла при рождении Лены, отец мало занимался детьми, дома они всегда были одни и всегда все трое вместе.

В разговорах вечер прошел незаметно, и мы разошлись по своим комнатам не раньше одиннадцати часов.

На следующее утро, сойдя в сад перед чаем, я нашла там обеих девочек. Они уже успели осмотреть и скотный двор, и птичник, и огород. Я спросила, как понравилось им мое хозяйство. Клавдия находила все милым, очень хорошеньким, по лицу Лены видно было, что она держится другого мнения.

– А ты, Леночка, что же ничего не говоришь? – спросила я ее.

– Да я, тетя, все думаю о тех женщинах, которые работают в огороде. Какие они бедные! У нас в Петербурге нищие одеты лучше них! Они полют гряды, а маленькие детки их лежат одни на солнце, завернутые в грязные тряпки. Мне так жаль было смотреть на них! Неужели здесь много таких бедных?

Я стала говорить девочке о том, как вообще тяжела жизнь крестьян, о том, как мы по мере сил стараемся помогать своим бедным соседям, и о том, как мало мы можем сделать.

– Когда я вырасту большая, я приеду и буду помогать вам, – объявила Лена, и при этой мысли личико ее снова прояснилось.

Поразившее меня с первого взгляда несходство в наружности племянниц моих проявлялось все резче и резче по мере того, как я знакомилась с их характерами.

Клавдия была девочка тихая, аккуратная, трудолюбивая. На второй же день по приезде она разобрала все привезенные с собою вещи, привела комнату свою в полнейший порядок, и я ни разу не заметила, чтобы порядок этот был чем-нибудь нарушен. Она привезла с собой несколько книг и каждое утро аккуратно занималась по ним часа два; потом приходила на балкон с какою-то бесконечною тамбурною² работой в руках и оставляла эту работу только на время еды или длинных прогулок, которые мы затевали чуть ли не каждое «после обеда».

¹ Надстройка над центральной частью дома, верхний полуэтаж.

² С вышиванием тамбурным швом.

Я заметила, что она старалась быть как можно чаще со мной, всегда очень охотно отвечала на мои вопросы, внимательно слушала все, что я говорила, и не противоречила мне никогда, ни в чем. Мужа она смущала тою предупредительностью, с какою спешила оказывать ему разные мелкие услуги. С прислугой она держала себя приветливо, но сдержанно, никогда не отдавала строгих приказаний, не делала выговоров, но и никогда не говорила ни слова лишнего, ни о чем не расспрашивала, не сообщала никаких подробностей о своей жизни.

«Это настоящая барышня», – замечали о ней горничные. Они в точности, хотя без особенного усердия, исполняли все ее поручения и относились к ней холодно, но почтительно.

Лена ни в чем не походила на свою кузину³. Живая, необыкновенно подвижная, всегда увлекающаяся чем-нибудь новым, она, кажется, даже и не подозревала, что на свете существуют такие вещи, как порядок и аккуратность. Белье и платья, привезенные ею с собой, валялись по стульям и столу ее комнаты, пока горничная не догадывалась прибрать их; книга, которую она читала, частенько ночевала на балконе или в саду; нередко приходилось целый час ждать ее к чаю или к обеду, так как всякое занятие увлекало ее настолько, что она забывала время. Со всей домашней прислугой Лена перезнакомилась, можно сказать, передружилась в первые же дни по приезде. Она очень скоро узнала семейную жизнь всех живших в доме, у нее явились даже в соседней деревне свои любимцы и любимицы, с которыми она просиживала по целым часам, слушая их рассказы и, в свою очередь, рассказывая им разные разности.

Она была несколькими месяцами старше Клавдии и по виду больше походила на взрослую девушку, а между тем с ней все обращались, как с девочкой, называли ее не барышней, а просто Леной, и я замечала, что прислуга часто небрежно исполняла ее поручения.

Раз, войдя неожиданно в ее комнату, я застала такую сцену: горничная Груша стояла посреди комнаты с несколько сконфуженным видом, а против нее Лена, покрасневшая от гнева, со слезами досады на глазах, топала ногой и, держа в руках смятое кисейное платье, кричала сердитым голосом:

– Да как же ты смела забыть! Ведь я тебе говорила, что мне сегодня нечего надеть, гадкая! – И смятое платье полетело прямо в лицо горничной.

Мое появление положило конец этой возмутительной сцене. Груша вышла вон, унося с собой платье, а Лена подошла к окну и стала пристально глядеть в него, пряча от меня свое покрасневшее личико.

– Неужели ты и в Петербурге так обращаешься с прислугой, Леночка? – спросила я после нескольких минут тяжелого молчания.

На мой вопрос не последовало ответа. Лена выбежала вон из комнаты.

Она вернулась ко мне уже через четверть часа с заплаканными глазами и сказала смущенным голосом:

– Тетя, пожалуйста, не думайте, что я злая. Я сейчас просила у Груши прощение, и мы с ней помирились. Она нисколько на меня не сердится.

И действительно, я в тот же день убедилась, что Груша и не думает сердиться.

– А что, Лена часто бывает так груба, как сегодня? – спросила я ее вечером.

– Что вы, сударыня, – с жаром отвечала она, – да разве Леночка груба! Это я была виновата, не выгладила ей платье. Нет, уж вы, пожалуйста, не браните ее. Она такая добрая, мы все так любим ее!

Груша говорила правду: все в доме любили Лену не как барышню, которую надобно слушаться, а как свою, как равную, которой все можно простить и для удовольствия которой можно многим пожертвовать.

Между мной и Леной с первых дней приезда ее установились вполне дружеские отношения. Не скажу, чтобы она была очень почтительной племянницей. Часто она поступала свое-

³ Двоюродная сестра.

вольно, не слушаясь моих советов, еще чаще не соглашаясь со мной во мнениях, горячо спорила и даже иногда резко высказывала неодобрение моим поступкам. Я не могла сердиться на нее за это: я понимала, что она не хочет оскорбить меня, что ее резкость происходит от непривычки сдерживаться, мне нравилась ее искренность и смелая правдивость.

С мужем Лена первое время была сдержанна и молчалива. Он казался ей, как она потом призналась мне, мрачным и недобрым, она сторонилась его и даже неохотно сидела в одной с ним комнате. Действительно, как человек серьезный, неласковый, он с первого взгляда не мог понравиться живой девочке. Необходимо было, чтобы какой-нибудь случай открыл ей лучшие стороны его характера. Такой случай представился недели через две по приезде девочек.

Случилось раз, что муж опоздал к обеду. Зная его всегдашнюю аккуратность, я уже начала беспокоиться, но страх мой оказался напрасным. Через полчаса после назначенного для нашего обеда часа он вернулся домой цел и невредим, только, к удивлению моему, вместо того чтобы идти в столовую, где мы ждали его, прошел прямо к себе в комнату. Пришлось прождать еще с четверть часа, пока он наконец присоединился к нам.

– Что случилось? Отчего ты так поздно? – спросила я его тревожным голосом.

– Ничего особенного, – весело отвечал он, – мне только пришлось взять маленькую ванну, и я должен был переменить белье.

Он рассказал, что, обходя поля, заметил на берегу небольшой речки толпу крестьянских детей, игравших очень близко к воде; он подошел к ним, чтобы предостеречь их, как вдруг из толпы их раздался крик; оказалось, что один маленький мальчуган не устоял на скользком берегу и упал в воду. Муж тотчас сбросил с себя верхнее платье и кинулся спасать несчастного. Речка была хоть небольшая, но очень быстрая, и долго не удавалось ему отыскать малютку.

Наконец, после многих усилий, он вытащил на берег бесчувственное маленькое тело. Не теряя надежды возвратить бедняжку к жизни, он понес его в деревню, в избу его матери, и там употребил все известные ему средства для спасения утопленников. Наконец ему удалось оживить малютку, и он мог оставить его на попечение его родственников.

Муж очень живо представил нам ужас и отчаяние матери ребенка, когда она увидела бездыханный труп своего милого сыночка, и ее радость, ее счастье, когда он открыл глаза и слабым голосом проговорил «мама».

Мы были очень тронуты его рассказом, Лена то краснела, то бледнела, и когда муж кончил, вдруг вскочила с места, бросилась к нему на шею и поцеловала его, говоря: «Теперь я вижу, что вы добрый, хороший человек!»

С этой минуты она перестала чуждаться мужа. Она охотно заговаривала с ним, выходила к нему навстречу, когда он возвращался откуда-нибудь домой, и украшала его письменный стол букетами цветов.

Приглашая обеих племянниц вместе, я надеялась, что вдвоем им будет веселее жить с нами, людьми пожилыми.

Однако скоро оказалось, что вследствие несходства характеров им трудно ладить вместе. Почти каждый день между ними происходили ссоры: Клавдия, всегда спокойная и рассудительная, считала себя вправе относиться несколько свысока к своей взбалмошной кузине.

Лена не выносила ее холодного, сдержанного тона и осыпала ее колкостями.

Ссоры начинались обыкновенно из-за сущих пустяков.

– Господи, какая нестерпимая жара! – жалуется Лена, с шумом бросаясь в большое кресло. – Просто можно задохнуться.

– Тебе оттого так жарко, – рассудительно замечает Клавдия, – что ты все бегаешь да возишься, посиди спокойно здесь в тени, и тебе не будет душно!

– Очень интересно, – сердитым тоном возражает Лена, – сидеть целый день на месте! Скажи еще, что нужно вязать твои противные салфетки, чтобы не чувствовать жары!

Клавдия молчит с видом человека, сознающего, как неприятно вести разговор с сердитым собеседником. Лену это еще больше раздражает.

– Что же ты ничего не отвечаешь, Клавдия? – придирается она. – Если ты считаешь унижительным для своего достоинства вести со мной разговор, так не стоило и начинать!

– Как же я буду с тобой говорить, – замечает Клавдия, – когда ты сердишься.

– Нисколько я не сержусь, я только не могу всегда и на все сладенько улыбаться, как какая-нибудь рыба или амфибия.

– Ни рыбы, ни амфибии не улыбаются, насколько мне известно, – ледяным тоном возражает Клавдия.

– Ну так что же, рыбы не улыбаются, а люди-рыбы улыбаются, тебе это должно быть еще лучше известно, Клавдия, потому что ты сама человек-рыба.

Клавдия презрительно усмехается, а Лена горячится все больше и больше, и кончается тем, что, наговорив множество дерзостей, в слезах убегает вон из комнаты.

Мне всегда становилось жаль Лену после подобных припадков вспыльчивости. Она так искренно каялась в них, так горячо просила Клавдию простить ей необдуманно сказанные слова.

– Милая моя, – сказала я ей один раз, в минуту ее раскаяния, – разве ты не видишь, что твои вспышки мучат тебя больше, чем кого бы то ни было. Неужели тебе никогда не приходили желания воздерживаться от них и сделать свой характер поворнее?

– По правде сказать, тетя, пока я не приехала сюда, я ни разу в жизни не думала об этом. Дома я часто ссорюсь с братьями, но обыкновенно у нас дело идет так: на каждое неприятное слово они мне отвечают двумя-тремя еще более неприятными; мы побранимся, а потом через четверть часа опять разговариваем друг с другом как ни в чем не бывало. Так мне и не приходится каяться в том, что я им говорю. А здесь, когда Клавдия начинает на меня дуться, а вы глядите на меня так печально, я вижу, что я гадкая, и мне так, так это неприятно!

И действительно, она от души сознавала свои недостатки; я замечала даже, что она делает усилия, чтобы избавиться от них, хотя усилия эти не всегда удавались ей.

Я готова была сквозь пальцы смотреть на ее несовершенства, и мне неприятно было видеть, что муж иначе относится к этому делу. Когда вспышки Лены случались при нем, он очень часто останавливал ее далеко неласковым замечанием вроде: «Ну, опять расходилась!» или «Экий отвратительный характер!» – и, по большей части, сердито уходил из комнаты.

Раз я даже испугалась, вообразив, что он окончательно невзлюбил девочку за ее неумение сдерживать себя и за резкость, с какой она выражала свои мнения. Это было в одно дождливое время после обеда. Погода мешала идти гулять, и я с обеими девочками сидела в гостиной. Лена читала нам вслух первую часть романа Диккенса «Домби и Сын», а мы с Клавдией работали.

Вдруг в комнату вошел муж. Я по лицу его тотчас заметила, что он сильно рассержен.

– Представь себе, какая неприятность, – сказал он, садясь на стул подле меня и бросая свою мокрую фуражку на стол, – пшеница, которую я купил прошедший год в Петербурге и посеял для пробы за нашим садом, пропала.

– Как так, отчего? – спросила я.

– Да оттого, что этот ротозей Федор опять распустил своих лошадей. Они сегодня с утра изволили прогуливаться на моем поле! Уж я же ему...

В эту минуту дверь гостиной скрипнула, и в нее вошел худощавый, маленького роста мужик с бледным, растерянным лицом.

– Батюшка барин, помилуйте! – обратился он к мужу умоляющим голосом.

– Ты чего сюда пришел! – закричал на него муж. – Ведь я уже сказал тебе, не смей и просить! Разиня этакий! Не может за своей скотиной присмотреть! Заплати мне штраф за потраву, до тех пор не выпущу твоих лошадей!

– Да, батюшка, откуда мне взять платить-то, сам ведь знаешь мои достатки!

– И знать ничего не хочу! Нечем платить, так смотри в оба! Пошел вон! Я и говорить с тобой не хочу.

– Смилуйся, батюшка, хоть ради деток малых смилуйся, – продолжал просить Федор. – Теперь рабочая пора, что я буду делать без лошадей! Ужо по осени уплачу тебе штраф, какой положишь.

– Нет, не по осени, а теперь уплатишь! – все больше и больше горячился муж.

Вся эта сцена производила самое тяжелое впечатление. Я знала, что, успокоившись, муж раскается в своих жестоких словах, что если я вмешаюсь в разговор, это еще усилит его раздражение, а между тем мне было и больно за него, и душевно жаль бедного Федора.

Я взглянула на девочек: Клавдия продолжала работать спокойно и невозмутимо, как будто не слышала ничего из происходившего подле нее; Лена закрыла книгу, щеки ее горели, глаза блистали, я хотела знаком остановить ее или увести из комнаты, но было уже слишком поздно: она вскочила с места и подошла к мужу.

– Дядя, – сказала она голосом, дрожавшим от волнения, – как вам не стыдно так обижать бедного мужика? Вы богаты, вам не беда, если испорчено одно какое-нибудь поле, а ведь он без лошадей не может работать, неужели вы хотите уморить с голода его детей!

Это неожиданное вмешательство девочки, кажется, одинаково поразило и мужа, и Федора. Федор с недоумением глядел на свою защитницу, муж был так удивлен, что не прерывал оживленной речи девочки.

– Не твое дело! Молчать! – закричал он на нее, когда она кончила.

– Не буду я молчать, – в свою очередь вспылила Лена, – отдайте Федору его лошадей! Вы не смеете их удерживать!

– Дерзкая девчонка! – вскричал муж и быстрыми шагами вышел вон из комнаты, хлопнув дверью так, что окна задрожали. Федор поплелся вслед за ним, печально опустив голову. Лена хотела догнать его, но я остановила ее.

– Оставь, Леночка, – сказала я ей, – дядя не злой человек, он сам знает, как поступать. Ты своим вмешательством только испортила дело.

– Как же он не злой, если может так обижать бедного мужика?

– Ну, это тебе, я думаю, знать лучше, чем кому-нибудь другому. Ты ведь не считаешь себя злой, а сколько раз ты обижала людей понапрасну в минуты запальчивости.

– Так это все дядя говорил только в запальчивости? Вы уверены, что он отдаст Федору его лошадей?

– Уверена. Но я также уверена, что ты своим непрошеным вмешательством сделала ему большую неприятность.

Лену смутили и слова мои, и тот неласковый тон, которым я произнесла их.

– Мне так было жаль Федора и так досадно на дядю, – проговорила она, как бы оправдываясь. – Тебе, Клавдия, разве не было жалко?

– С какой же стати мне мешаться в чужие дела? – отвечала Клавдия. – Дяденька старше и умнее меня – разве я смею его учить?

Я видела, что с языка Лены готово сорваться какое-то резкое замечание в ответ на эти слова, произнесенные рассудительным голосом, и, чтобы предотвратить новую ссору, взяла роман Диккенса и предложила сама читать громко обеим девочкам.

Клавдия поблагодарила меня с своей обыкновенною вежливостью, Лена молча бросилась в кресло подле окна, и я по лицу ее видела, что ей вовсе не до Диккенса. Я начала чтение, хотя его слушала только одна из девочек. Мысли другой носились где-то далеко от этой комнаты, и мне казалось, что они следуют за Федором, возвращающимся в свой дом с грустной вестью о неумолимой жестокости барина.

Весь вечер муж был занят делами, так что мне не удалось поговорить с ним. На следующее утро я нарочно встала пораньше, чтобы застать его прежде, чем он уйдет в поле. Каково же было мое удивление, когда, выйдя на балкон, я увидела, что он уже направляется к дому по полевой дорожке, а рядом с ним идет, весело болтая, Лена. Я поспешила навстречу им.

– Ну что, помирились? – спросила я.

– Да нельзя было не помириться, – смеясь, отвечал муж. – Эта плутовка доказала мне, как дважды два – четыре, что если она была виновата, то я был виноват еще больше, и потому не имею права сердиться.

– А что Федор?

– Мы сейчас были у него в гостях, – объяснила Лена. – Дядя отдал ему лошадей и штрафа с него никакого не возьмет. Одним словом, все кончилось отлично и мне очень-очень весело.

В доказательство своей веселости девочка побежала домой, подпрыгивая, точно молодая козочка, и напевая про себя какую-то песенку.

Я также была очень рада, что дело кончилось благополучно и что муж не сердится на Лену. И без того она довольно часто досаждала ему и беспокоила его своею неугомонностью. Зачастую она без спроса вбегала в кабинет, когда муж был занят серьезными делами, и прерывала его занятия каким-нибудь пустым рассказом. Он иногда терпеливо, хотя поморщиваясь, выслушивал ее, иногда же довольно неласково говорил ей: «Ну, убирайся, девочка, мне некогда слушать твои глупости!» – и она, нимало не обижаясь, уходила прочь с тем, чтобы вернуться через полчаса с новым запасом болтовни.

Порядок, господствовавший в нашем домике, был совершенно нарушен ею. Стоило ей пробыть с полчаса в комнате, и уже, наверно, часть мебели была сдвинута с места, где-нибудь на полу валялась разорванная бумага, какая-нибудь книга перемещалась со стола на стул или даже под стул и тому подобное. Уборка комнат занимала у прислуги вдвое больше времени, чем зимой; горничная уверяла, что работает на Лену гораздо больше, чем на Клавдию, хотя у Клавдии и платья, и белье всегда отличались чистотой, Лена же очень часто ходила замарашкой. Мы с Клавдией должны были держать свои рабочие ящики на замке, иначе Лена перевертывала все в них вверх дном из-за какой-нибудь понадобившейся ей иголки или булавки. Много цветов нашего сада погибло под ногами неосторожной девочки, немало посуды перебила она нам в лето, но зато немало и упреков, выговоров пришлось ей выслушать не только от мужа и от меня, но даже от старой прислуги, которая за глаза не позволяла сказать о ней дурного слова, в глаза же часто ворчала на нее. Нам беспрестанно приходилось ставить ей в пример Клавдию, и мы так часто выговаривали ей за ее мелкие проступки, что можно было подумать, будто мы вовсе не любим ее и тяготимся ее присутствием. А между тем мне было положительно скучно, когда я долго не слышала ее веселого смеха. Никто лучше ее не умел привести мужа в хорошее расположение духа, никого не брал он с собой на отдаленные прогулки так охотно, как ее.

Один случай особенно показал, насколько дорога была нам эта девочка, так часто подвергавшая испытанию наше терпение.

В нескольких верстах от нашего имения протекала большая, широкая река. Ее гористые, крутые берега были необыкновенно живописны. Мы с мужем обыкновенно раза два-три в лето предпринимали поездки в небольшую деревеньку, лежавшую на берегу ее и отличавшуюся особенно красивым местоположением. Раз как-то мы упомянули при девочках об этих поездках. Глаза Лены заблестали.

– А нынешний год вы поедете с нами? – спросила она.

– Да, надо будет как-нибудь съездить, – отвечал муж.

– Да когда? Поедем завтра, дядя, голубчик, завтра! – просила нетерпеливая девочка.

– Ну вот, не сегодня ли еще! Ведь ты знаешь, что в будень мне некогда, я занят; в воскресенье, если погода будет хороша, пожалуй, съездим.

– В воскресенье! Сегодня только среда, так долго ждать! Лучше бы завтра! – настаивала Лена.

– Полно, Леночка, – остановила я ее, – ты точно маленькая, посмотри, ведь Клавдии также хочется ехать, однако же она не надоедает глупыми просьбами.

Лена надула губки, впрочем, ненадолго. Мы с Клавдией начали рассуждать, как лучше и удобнее устроить предполагаемую поездку, она очень скоро приняла участие в нашем разговоре и снова повеселела.

В воскресенье решено было отобедать пораньше, часа в два, и затем тотчас же отправиться в путь. День стоял невыносимо жаркий.

– Не отложить ли нам поездку? – предложила я. – Ведь в такую духоту прогулка не доставит большого удовольствия.

– Конечно, лучше ехать, когда не так жарко, – тотчас же согласилась Клавдия, хотя по голосу ее заметно было, что эта отсрочка ей неприятна.

– Ах, нет, тетя, голубушка, поедем сегодня, чего там откладывать, ведь дядя обещал в воскресенье. Дядя, ведь вы обещали? – вскричала Лена.

– Ну, ну, хорошо, не волнуйся, – поспешил вмешаться муж. – Поедем уж сегодня, – обратился он ко мне, – мы можем остаться там, пока спадет жара, а то ведь Лена целую неделю покоя не даст, да и Клавдии, кажется, хочется ехать.

– Мне хочется, дяденька, – отвечала Клавдия, – только если тетеньке угодно, то все равно, можно и отложить.

– Нет, нет, нет, нельзя откладывать, – объявила Лена, – тетя согласна, правда ведь, тетя?

– Да ну, пожалуй, – улыбнулась я, – если всем вам хочется, только бы не собралась к вечеру гроза.

После полудня на небе стали действительно показываться облачка. Лена не давала мне заикнуться ни о каких опасениях и хлопотала над приготовлениями к поездке так усердно, что было бы положительно жестоко лишить ее этого удовольствия.

В три часа мы все уселись в большую четырехместную коляску, куда еще раньше были поставлены корзины с чаем, сахаром, разными съестными припасами и мелкими подарками, которые я везла знакомым крестьянам живописной деревушки.

Смеясь и болтая, уселись мы в экипаж, и откормленные лошади повезли нас быстрой рысью по гладкой дороге.

Солнце жгло невыносимо, но от жары страдала, кажется, я одна. Обе девочки были веселы, как птички, и муж принимал самое живое участие в их веселье.

До реки нужно было ехать двенадцать верст. Дорога шла то среди полей, на которых чуть-чуть колыхались спелые колосья желтой ржи, то среди густого хвойного леса, высокие деревья которого стояли неподвижно и мрачно, едва пропуская сквозь себя солнечные лучи.

Через час с небольшим езды крутой поворот дороги неожиданно вывел нас на самый берег реки. Последние две версты нам пришлось ехать сплошь густым лесом, и тем живописнее показалась картина, вдруг открывшаяся глазам нашим с того холма, на котором мы находились.

Довольно широкая, быстрая река, вся залитая солнечными лучами, делала несколько крутых поворотов и исчезала на конце горизонта, как бы теряясь в густом, дремучем лесу; тот берег ее, по которому ехали мы, спускался крутым песчаным откосом вниз, а противоположный поднимался целым рядом холмов самых разнообразных очертаний.

Мы вышли из экипажа и, послав его вперед в деревеньку, где собирались остановиться, сами пошли пешком. Всем нам гораздо больше хотелось гулять, чем приниматься за чай и закуску, и потому мы охотно согласились на просьбу Лены переехать на пароме на другую сторону реки и побродить по красивым холмам.

С одного из них, самого высокого, открывался вид на ближайший городок и всю окрестность. Мы полюбовались этим видом, погуляли в очень хорошенькой березовой рощице, затем опять переехали на другую сторону реки и через четверть часа ходьбы добрались до деревни.

Знакомая мне крестьянка, у которой мы с мужем обыкновенно останавливались, уже начала греть нам самовар и вынесла на берег реки под тень большой березы стол и скамейки. Мы вошли к ней в избу. Я познакомила девочек со всем ее многочисленным семейством, раздала привезенные подарки, выслушала ее рассказы о разных деревенских новостях, сама сообщила ей известия о ее знакомых, живших в нашей усадьбе, и в разговорах у нас незаметно пролетело около часа.

Когда мы вышли из избы, чтобы расположиться на открытом воздухе за самоваром и закуской, всех нас поразила перемена погоды: легкий ветерок, дувший с утра, превратился в довольно сильный ветер, маленькие облачка, скользившие по небу, сгустились, потемнели, а с востока медленно поднималась большая туча, казавшаяся черною от ярких лучей солнца.

– Надо скорее уезжать домой, непременно будет гроза, – торопил нас муж, и сам пошел разыскивать кучера, который, пустив лошадей гулять на луг, отправился в гости к своему куму, жившему на другом конце деревни.

Мы наскоро выпили по чашке чаю, предоставили всю привезенную провизию в распоряжение хозяйки и с нетерпением ожидали экипажа. Пока пришел кучер, пока он запряг лошадей, прошло с добрых полчаса, а между тем небо представляло все более и более грозный вид.

Серое облако набежало на солнце, грозная туча быстро подвигалась, и вдруг яркая молния прорезала ее с одного конца до другого.

– Гроза будет большая, лучше бы вам переждать, – советовали нам крестьяне, и мы согласились, что это действительно будет разумнее.

Ветер становился все сильнее, тучи все более и более заволакивали небо, вдали слышались раскаты грома, молния сверкала чаще и чаще. Гроза быстро приближалась к нам и наконец разразилась с ужасающей силою. Вихрь поднимал целые столбы песочной пыли, приклонял к земле молодые деревца и так сердито трепал ветки старых, точно хотел разорвать их на мелкие куски. Гром гремел почти беспрестанно, ослепительная молния прорезывала небо.

Мы все собрались в избу Матрены переждать непогоду. Младшие дети ее запрятались за печку и кричали со страху при всяком сильном ударе грома. Клавдия также боялась, она была бледна и беспрестанно вздрагивала. Даже Лена присмирела и молча слушала какой-то длинный рассказ словоохотливой Матрены.

На несколько минут гроза стихла, мы уже начали надеяться, что тучи прошли, как вдруг блеснула молния, осветившая все углы избы, и в ту же секунду раздался такой оглушительный удар грома, что мы все как-то невольно вскочили с мест. Едва успели умолкнуть раскаты грома, как послышались крики:

– Пожар! Горим! Горим!

Мы бросились на улицу посмотреть, что случилось, и остолбенели от ужаса: молния зажгла одну избу и сильный ветер грозил распространить пожар на всю деревню.

Крестьяне, видя близкую опасность лишиться всего своего имущества, совсем растерялись; они не только не старались предохранять от огня свои дома, но не думали даже спасти свои вещи.

Наконец, мужу удалось собрать вокруг себя человек десять крестьян и уговорить их тушить пожар. Огонь между тем уже успел распространиться, и вместо одной избы горело три. Надобно было как можно скорей заливать водой соседние дома, чтобы отстоять хоть их. Муж объяснил это крестьянам, и под его предводительством они усердно взялись за дело.

Я взяла на свое попечение детей. Среди всеобщей суматохи, многим из них грозила неминуемая опасность: старшие дети видели во всем происшествии одну забаву для себя и смело бросались чуть не в огонь; младшие, ничего не понимая, спокойно оставались в избах, и пере-

пуганные матери или забывали их, или, возясь с ними, не могли спасти своего имущества. Частью ласками, частью угрозами мне удалось собрать вокруг себя весь маленький люд и поместиться с ним на лужайке, откуда пожар был нам виден, но где мы не подвергались опасности.

Лена между тем помогала женщинам, спасавшим свое имущество, и я издали видела, как она бегала взад и вперед, то таская разные вещи, то стараясь ободрить и утешить плачущих.

Одна Клавдия ни в чем не принимала участия: она сидела в нескольких шагах от меня, закутавшись в большой плед и вздрагивала при всякой молнии, освещавшей небо, при всяком треске валившихся балок.

По всей деревне господствовало величайшее смятение: рыдание, стоны, крики нескольких десятков голосов смешивались со свистом ветра и грохотом падавших обгорелых бревен; меньшая часть крестьян занималась тушением пожара, остальные в беспорядке бегали взад и вперед, хватаясь то за то, то за другое и, видимо, совсем потеряв голову.

В нескольких саженьях от меня расположилась группа из шести баб и четырех мужиков. Бабы сидели на земле и громко плакали, мужики смотрели на огонь с тупым отчаянием; они, казалось, видели в нем неотразимое бедствие, против которого напрасно борются.

И действительно, все усилия потушить пожар приносили мало пользы; в деревне не было ни пожарных труб, ни насосов, воду приходилось привозить с реки в бочках и потом ведрами выливать на те места, которые начинали загораться. Заливание шло медленно, а между тем ветер все дальше и дальше разносил горящие головни.

Гроза, на которую никто больше не обращал внимания, постепенно стихала и наконец совсем прекратилась; солнце зашло, все небо было покрыто тучами, и быстро наступившая темнота еще увеличивала ужас картины.

Вдруг совершенно неожиданно ветер переменял направление, клубы дыма и горящие головни полетели от деревни к реке, а с тем вместе хлынул сильнейший, проливной дождь. Это было спасением для несчастной деревни. Впрочем, что я говорю, «спасением» – и спасти-то почти уж нечего было: из всей деревни уцелели только три избы да баня, все остальное сделалось жертвою пламени.

Мы подождали, пока убедились, что пожар окончательно прекратился, и увидели, что бедные крестьяне начинают приходить в себя. Хозяева уцелевших домов гостеприимно предложили у себя пристанище всем, кто мог поместиться в их избах, но избы эти были так невелики, что только дети и старики могли поместиться в них. Взрослым пришлось ночевать на открытом воздухе, под проливным дождем. Впрочем, после ужасного несчастья, постигшего их, они, вероятно, не обратили большого внимания на эту неприятность.

Навряд ли кому-нибудь из этих бедняков удалось хоть на минуту забыть свое горе во сне!

Мы сели в экипаж и отправились домой, промокшие, иззябшие, сильно расстроенные всем, что пришлось видеть в последние несколько часов.

У меня ясно стояли перед глазами полуобезумевшие от страха и горя лица крестьян, глядевших на истребление своего имущества; в ушах моих все еще раздавались крики женщин, в отчаянии бросавшихся чуть не в середину пламени для спасения хоть части своих вещей. Вероятно, спутникам моим было на душе так же тяжело, как мне. По крайней мере, долго никто из нас не прерывал мрачного молчания, господствовавшего в нашей коляске, взамен веселой болтовни, с которою мы выехали из дома.

Первая заговорила Клавдия.

– Вот, Лена, – сказала она, когда мы проехали почти полдороги, – правду тетя говорила, что лучше бы нам отложить прогулку, поехали бы в другой раз, нам было бы веселее, а сегодня вместо удовольствия только неприятность.

– Напротив! – вскричала Лена. – Я думаю, теперь и тетя рада, что мы ее не послушали! Без дяди, верно, вся деревня сгорела бы и крестьяне не спасли бы ничего из своих вещей, а без тети могли бы сгореть даже дети!

– Главное хорошо, что мы знаем об этом несчастье и можем вовремя помочь погоревшим, – заметил муж.

– А как вы думаете помочь им? – спросила Лена. – Вы дадите им лесу, чтобы они себе построили новые дома?

– Нет, лес им пока не нужен, им некогда строиться, когда у них еще не кончен покос и надо приниматься за жатву. Я думаю просто ссудить их деньгами, тогда они могут переселиться на время в деревню Тальбино, версты за три от них, а зимой я дам им сколько нужно лесу.

– Маланья не успела спасти ни одной тряпки, – сказала я, – пожар начался с ее избы, а у нее шесть человек детей, надо будет послать ей хоть холста.

– Я пошлю ей все свои деньги, у меня два рубля сорок копеек, – объявила Лена. – И ты, Клавдия, также? – спросила она. – У тебя ведь есть деньги.

– Да, но только я не могу послать их, – отвечала Клавдия. – Маменька дала мне эти деньги, чтобы я раздала их прислуге, уезжая из деревни.

– Мне папа также велел дать из моих денег прислуге, – сказала Лена, – только я уж лучше раздарю горничным все мои платочки, воротнички и, пожалуй, даже платья, а деньги пошлю Маланье. Мне все представляется, как она страшно кричала и дико глядела на огонь!

Мы приехали домой уже во втором часу ночи. Несмотря на это, Лена не хотела идти спать, пока муж не рассчитал и не сказал, какую сумму денег он может дать крестьянам. Затем она стала приставать ко мне, нельзя ли послать погоревшим чего-нибудь кроме холста, какой-нибудь провизии. Я согласилась, что можно, пожалуй, снабдить их на первое время мукой и крупой, но объяснила девочке, что у нас в доме не заготовлено достаточно провизии, чтобы накормить целую деревню, что за деньги погоревшие без труда достанут себе все необходимое и в городе, и в соседних деревнях.

– Ну, а когда же мы свезем им и деньги, и все остальное? – спросила она, удовлетворившись, по-видимому, моим объяснением.

– Да, пожалуй, хоть завтра; конечно, если погода будет получше, – отвечала я, прислушиваясь к шуму дождя, барабанившего в окна, и чувствуя во всем теле дрожь.

– Вот это отлично, – обрадовалась Лена. – Так вы, дядя, дайте-ка нам деньги теперь же, а то вы ведь завтра уйдете на работу, пока мы еще будем спать, а нам надо съездить в деревню до обеда.

Муж нашел это замечание вполне справедливым и тотчас же отдал девочке деньги, которые предназначал послать крестьянам.

– Смотри же, Лена, – сказала я, прощаясь с ней перед сном, – если завтра будет лить такой же дождь, как сегодня, мы не поедem в Приречное, ты уж об этом и не мечтай.

На следующее утро я проснулась с такою сильною головою болью, что положительно не могла открыть глаза. Это была обыкновенная нервная головная боль, возвращавшаяся после каждого сильного волнения и продолжавшаяся несколько часов сряду. Горничная моя знала эту болезнь и средство помочь мне: она заперла ставни моей спальни, наблюдала за тем, чтобы никто близко не подходил к моей комнате, и от времени до времени давала мне успокоительное лекарство. Таким образом, я провела все утро в темноте и полной тишине.

К трем часам боль унялась, я могла встать, одеться и выйти в другие комнаты. Взглянув в окна, я увидела, что дождь лил как из ведра.

В гостиной меня встретила Клавдия, поздоровалась со мной, вежливо осведомилась о моем здоровье и затем снова принялась за свою работу.

– А где же Лена? – спросила я.

– Леночки нет, она уехала.

– Как уехала? По такому дождю! Куда?

– В Приречное. Я ей говорила, что вы рассердитесь, да она не послушалась, она уж давно уехала.

– Кто такой уехал? – спросил муж, входя в комнату.

Я ему объяснила.

– Как, Лена уехала? Да с кем же? – удивился он. – Кучер с раннего утра ездил со мной по делам, мы только сейчас возвратились. С кем она поехала, Клавдия?

– Не знаю-с.

Пришлось расспрашивать прислугу.

Оказалось, что сумасшедшая девочка, не найдя дома кучера, велела его двенадцатилетнему сыну заложить в телегу лошадь, распорядилась, чтобы в эту телегу уложили куль муки, мешок крупы, кусок холста, почти все хлеба, какие были у нас в доме, и в сопровождении маленького возницы отправилась в Приречное.

– В котором же часу она уехала? – с беспокойством спрашивали мы.

– Часу так в одиннадцатом.

– В одиннадцатом, а теперь уже четвертый! Наверное, с ней случилось какое-нибудь несчастье! Да и что мудреного! Сама ребенок и отправилась в такую даль с ребенком-кучером, едва умеющим править лошастью! А дождем размыло дорогу так, что взрослому надо было ехать по ней осторожно.

– Черт знает что за взбалмошная девчонка, – говорил муж, быстрыми шагами расхаживая взад и вперед по комнате, что всегда означало у него сильнейшую степень беспокойства. – Ведь вот она сидит же себе спокойно, – прибавил он, указывая на Клавдию, – а той нет, надо непременно скакать!

Я посмотрела на Клавдию, и мне вдруг стал неприятен вид ее спокойного личика, мне вдруг почувствовалось, что я готова отдать десять таких смиренных, невозмутимых девочек за взбалмошную голову Лены!

А ее все нет и нет. Часы звонко пробили четыре. Обед был давно подан, но никто из нас и не думал дотронуться до него: мы с мужем были сильно взволнованы, Клавдия считала неприличным обедать, когда старшие не хотели есть.

– Я пошлю верхового⁴ к ней навстречу, – сказал муж в половине пятого. Прошло еще полчаса мучительного ожидания.

Наконец вдали на дороге показался верховой и вслед за ним телега.

Муж выскочил на крыльцо. Через несколько минут он на руках внес в комнату всю измокшую, покрытую грязью фигурку, закутанную в рогожи и мужские полушубки.

– Лена, как тебе не стыдно, по такому дождю, – бросилась я к ней навстречу. – Распутывайся скорей. Ты вымокла? Прозябла?

– Нисколько, тетя, – отвечала девочка, сбрасывая с себя все вещи, которыми была закутана, – у меня только ноги немного промокли, а то я вся суха.

– И для чего это ты поскакала? – заметил ей муж. – Ведь тетка вчера вечером предупредила тебя, что в дурную погоду нельзя ехать такую даль.

– Ах, дядя! – вскричала девочка. – Я, право, не могла послушаться тети! Мне все представлялось, как обрадуются вашим деньгам эти несчастные, мне казалось так жестоко заставлять их страдать лишний день из-за дурной погоды!

– Но ведь ты сама могла простудиться. И поехала с мальчишкой, вместо кучера! Ну, кабы он тебя опрокинул!

– Не беда! – отвечала девочка, весело встряхивая кудрями. – Убиться бы не могла, а если бы ушиблась или схватила легкую лихорадку, это не важность.

⁴ То есть – человека верхом на лошади.

Против такого рассуждения нечего было возражать. Я заставила Лену надеть сухую обувь, и затем мы все сели обедать. Лена рассказывала, как обрадовались крестьяне деньгам, как они собираются прийти благодарить мужа, как ей пришлось делить привезенные вещи между самыми неимущими и раздавать детям куски хлеба.

– А тебя они очень благодарили? – спросила я.

– Ужасно! Мне было так совестно! Они все не хотели понять, что я ведь приехала от вас, что мне самой нечего дать, – и девочка сконфуженно-печально опустила голову.

У нас не хватило духу побранить ее за беспокойство, какое она нам причинила; я чувствовала, что люблю непослушную, своевольную девочку горячее прежнего и видела по глазам мужа, что он разделяет мои чувства.

Время быстро шло. Вот уже настала половина августа, обеим девочкам пора было возвратиться в Петербург.

Мы откладывали до последней возможности день их отъезда: наконец, пришлось определить его. Тарантас подъехал к крыльцу, чтобы отвезти гостей наших на железную дорогу. В него уложили вещи девочек и разные деревенские гостинцы, которые мы посылали петербургским родным.

Началось прощание. Клавдия поцеловала меня и мужа, очень мило поблагодарила нас за нашу доброту к ней, приветливо поклонилась прислуге, стоявшей у крыльца, спокойно села в экипаж и тотчас же начала осматривать, не забыто ли чего-нибудь из ее вещей. Лена, ни слова не говоря, бросилась на шею мужу, потом ко мне, потом побежала поцеловаться со всей прислугой, потом опять кинулась обнимать меня, пока, наконец, муж не сказал ей:

– Ну, довольно, милая, садись, лошади устали стоять.

Тогда она, вся заплаканная, влезла в экипаж, приткнулась в нем кое-как, не обращая внимания на то, что стесняет свою спутницу, и, выставив голову, принялась кивать нам, пока поворот дороги не скрыл нас от глаз ее.

Я постояла несколько минут на крыльце и вошла в комнаты. У окна столовой стоял муж и следил глазами за быстро исчезающим вдали экипажем. Я подошла к нему.

– Вот и уехали! – сказала я. – Опять мы с тобой остались одинокими стариками!

– Послушай, – проговорил он, быстро обернув ко мне голову, – напиши своему брату, чтобы он непременно каждое лето отпускал к нам гостить девочку!

– Ты говоришь о Лене? – с удивлением спросила я.

– Конечно. А то о ком же?

– Мне казалось, что Клавдия тебе больше нравится, ты так часто сердился на Лену!

– Пустяки! Мне до Клавдии нет никакого дела! А Лена... Я готов бы отдать все свое состояние, чтобы она была моею дочерью и никогда не уезжала от нас!

Странное дело! Одну из девочек мы постоянно хвалили и в глаза, и за глаза, во все лето нам не пришлось сделать ей ни одного упрека, а между тем мы относились к ней холодно; она казалась нам как будто чужою, в нас не являлось желания как можно скорей опять увидаться с ней. Другая девочка, напротив, очень часто раздражала нас, вызывала с нашей стороны резкие замечания, а между тем мы чувствовали, что она нам близка и дорога, что, уехав от нас, она оставила в доме ничем не заменимую пустоту. Отчего это? Не оттого ли, что у одной из девочек приятная внешность скрывала равнодушие к окружающим, а у другой – сквозь все ее детские недостатки проглядывала искренность, правдивость, живое сочувствие к страданию ближнего.

Надежда семьи

В небольшой, скудно меблированной комнате, игравшей роль и спальни, и детской, собралось все семейство бедного петербургского чиновника Ивана Алексеевича Смирнова. Девочка лет двенадцати уселась на окно и, пользуясь светлыми июльскими сумерками, с жадностью читала книгу; мальчик лет восьми расставлял по столу какие-то странные фигуры, вырезанные им самим из бумаги и изображавшие в его игре солдат; двое других маленьких мальчиков окружили веревочками ножки стульев и колотили тесемочными хлыстиками своих воображаемых лошадок. А мать убаюкивала на руках свою младшую трехмесячную дочь.

– Ну что, заснула, наконец, девочка? – спросил у жены Иван Алексеевич, входя из соседней комнаты. – Мне надо с тобой поговорить.

– Да, она спит. Я сейчас к тебе приду, – отвечала Елизавета Ивановна.

Она бережно отнесла ребенка в его кроватку, стоявшую в заднем углу комнаты, и, захватив со стола разорванный детский чулочек, уселась у окна штопать его.

– Флегонт Михайлович отказал своему писарю, – начал Иван Алексеевич, видя, что жена готова слушать его. – Он предлагает мне у себя работу. Писать придется по вечерам, часа полтора-два в день, а жалованья он дает сто рублей в год.

– Сто рублей немалые деньги, – задумчиво проговорила Елизавета Ивановна. – Нам бы они пришлись очень кстати – только не тяжело ли это будет тебе? Ты и так хворал всю зиму, а доктор говорил, что тебе нужно поменьше заниматься.

– Что делать! Потружусь, пока хватит сил, – вздохнул Иван Алексеевич. – Надо же о них подумать, – он указал на детей. – Вон, Маше тринадцатый год пошел. В школе, говорят, она уже весь курс прошла; на эти деньги мы могли бы отдать ее в гимназию.

– В гимназию? – удивилась Елизавета Ивановна. – Что ты затеял! А я думала, что она теперь кончит ходить в школу да будет мне в домашней работе помогать. Одной мне уж очень трудно приходится: и с детьми нянчиться, и шить, и мыть на всех вас.

– Знаю я, что нелегко! Да ведь жалко девочку-то! Она такая способная, прилежная к ученью! В школе ею не нахвалятся. Что ей делать дома? Учиться шить да детей нянчить? Это она и теперь уже умеет. А дадим мы ей средства кончить курс в гимназии, выйдет из нее образованная девушка, так она будет обеспечена на всю жизнь, всегда сумеет заработать кусок хлеба, да и нас поддержит на старости лет. Маша, хочешь поступить в гимназию?

Девочка была так занята чтением, что не слышала разговора родителей. При вопросе отца она быстро подняла голову и глаза ее засветились радостью.

– В гимназию? Еще бы не хотеть! – вскричала она. – Да разве это возможно?

– А тебе еще не надоело ученье? Хочется сделаться образованной барышней?

– Конечно, хочется! И как еще! Да ведь и для вас хорошо будет, если я кончу курс в гимназии. Помните, тетенька рассказывала про одну свою знакомую барышню, которая училась в гимназии, а теперь дает уроки и получает шестьдесят рублей в месяц? И я также стала бы давать уроки и все заработанные деньги отдавала бы вам! А потом я могла бы учить братьев и сестер. Уж вам не пришлось бы платить за них в школу!

– Ишь, сколько насулила! – с улыбкой заметил Иван Алексеевич. – Поверить ей разве на слово, Лиза, а? Может, и вправду не забудет нас, стариков?

– Знаешь, Маша, что для тебя делает отец? – обратилась к дочери Елизавета Ивановна. – Он хочет взять еще лишнюю работу, чтобы платить за тебя в гимназию!

Маша бросилась на шею отца; от волнения она не могла произнести ни слова, но по слезам, заблеставшим в глазах ее, по той нежности, с какой она ласкала Ивана Алексеевича, родители видели, что по крайней мере в эту минуту нельзя сомневаться ни в ее благодарности, ни в ее добрых намерениях.

Иван Алексеевич взял предложенную ему работу и просиживал за скучною перепискою бумаг те вечерние часы, которые прежде проводил в кругу семьи, отдыхая от дневных трудов. Маша целые дни училась, приготавливаясь к экзамену, а Елизавете Ивановне приходилось одной и нянчиться с малюткой, и смотреть за старшими детьми, и шить на всю семью, и мыть детское белье, и помогать старой кухарке готовить обед. Она не жаловалась на это, но иногда говорила мужу:

– Учится наша Маша много, да кто знает, будет ли толк с ее ученья. А нам оно тяжело приходится: ты в эти дни как будто еще больше исхудал!

– Полно, оставь, не говори этого девочке, – отвечал Иван Алексеевич, – пусть себе учится, не надо мешать ей!

Маша очень удовлетворительно выдержала экзамен в четвертый класс гимназии. Она вернулась домой такая радостная и довольная, с таким оживлением мечтала о занятиях в гимназии и о своих будущих трудах на пользу семьи, что лицо Елизаветы Ивановны прояснилось и она стала без страха думать о превращении своей дочки в образованную барышню. Одно несколько смутило ее: заботы Маши о своем туалете.

– Маменька, – сказала девочка на следующее утро после экзамена, – в чем же я буду ходить в гимназию? Неужели в ситцевых платьях, как я ходила в школу? Ведь это, пожалуй, нельзя!

– Что же делать, дружок! – отвечала Елизавета Ивановна – У меня было припасено пять рублей тебе на шерстяное платье, да как заболела Лелечка, все пришлось истратить на доктора да на лекарство. Походишь и в ситцевом!

– Да это стыдно, маменька!

– Что же за стыд такой! В гимназии учатся не все богатые девочки, там, я думаю, есть и бедные; да и богатые ходят туда не для щегольства. Кто занят ученьем, тому и в голову не придет рассматривать, как одеты другие!

«Пожалуй, и в самом деле в гимназии не обращают внимания на одежду», – подумала Маша, успокоенная разумными словами матери.

Елизавета Ивановна своими руками вымыла и выгладила ей старое ситцевое платье, так что оно выглядело совершенно свеженьким, сшила ей новый передник, приготовила ей чистый воротничок и так искусно подштопала дырку на ее прюнелевых⁵ ботинках, что они совсем не казались изношенными.

Маша видела заботливость матери и была тронута. С радостным сердцем и самыми лучшими намерениями в голове пошла она в гимназию в день открытия классов. Она прежде училась в небольшой школе и потому не особенно смутилась, очутившись среди толпы незнакомых девочек. Она наперед знала, что эти девочки обратятся к ней с обыкновенными вопросами о том, как ее фамилия, где она училась прежде и тому подобное, и без скуки раз тридцать повторила одни и те же ответы на эти вопросы. В первый день ей не удалось близко познакомиться ни с кем из новых подруг: девочки, как она, только что поступившие в гимназию, были застенчивы и неохотно вступали в разговор, старые же гимназистки не спешили сближаться с новичками.

Несмотря на это, все в гимназии понравилось Маше, все: и светлые, просторные классные комнаты, и шумная толпа учениц всех возрастов в рекреационном зале⁶, и деликатное обращение классных дам, и преподавание учителей. Она пришла домой в самом веселом расположении духа и в подробности рассказала все, что видела и слышала в гимназии. Родители

⁵ Прюнель – старинная особо прочная, темная, чаще всего черная ткань, использовавшаяся для изготовления верха обуви, обивки мебели и т. п.

⁶ Зал в средних учебных заведениях для отдыха и игр учащихся во время перемен.

с удовольствием слушали ее, и даже младшие дети бросили игрушки и молча уселись поближе к «гимназистке».

– Одна беда! – сказала Маша, окончив свой длинный рассказ. – Мне надо купить ужасно много книг. Посмотрите, папенька, какой длинный список: я думаю, это будет очень дорого!

– Не заботься об этом, дружок, – успокоил дочь Иван Алексеевич, – новые книги, правда, дороги, но я тебе куплю подержанные у букинистов⁷ – тебе ведь это ничего?

– Конечно, не все ли равно, по каким книгам учиться! – проговорила Маша с подавленным вздохом.

Тотчас после обеда Иван Алексеевич отправился закупать книги. Долго пришлось ему ходить от одного букиниста к другому, пока наконец он приобрел на свои скудные средства все, что было нужно. Он вернулся домой утомленный и передал Маше толстую пачку книг. Книги эти были по большей части очень и очень подержаны. Видно было, что каждая из них перебивалась во многих руках и каждый владелец оставил на ней какой-нибудь знак: один испестрил чернильными пятнами, другой наделал на полях разных примечаний пером и карандашом, третий украсил все белые листы своими рисунками, четвертый бесчисленное множество раз надписал свою фамилию. Маша довольно сухо поблагодарила отца и с грустью уложила книги в ремешки, в которых носила в гимназию свои учебные принадлежности.

На следующий день она пришла в гимназию до начала классов и, чтобы не терять времени, тотчас начала повторять заданный урок.

– Что это такое? – вдруг обратилась к ней сидевшая рядом с нею девочка. – Ты говорила вчера, что твоя фамилия Смирнова, а на географии у тебя написано Разумовский! Это не твоя книга?

– Нет, моя! – сильно покраснев, ответила Маша.

– А на русской грамматике у нее написано Федотова! – подхватила другая соседка Маши. – Ты, верно, ходила по всем своим знакомым да собирала книги, какую кто даст?

Если бы Маша была поумнее, она прямо объяснила бы подругам, в чем дело, и без труда доказала бы им, как глупы их насмешки; но у нее не хватило на это ни смелости, ни догадливости. Она сконфузилась, растерялась и своим смущенным видом еще больше подзадорила насмешниц.

– И не стыдно тебе с такими книгами ходить в гимназию! – вскричала третья девочка, подошедшая к говорившим. – Посмотрите-ка, что за гадость! – Она брезгливо приподняла со стола одну из книг Маши, действительно отличавшуюся особенным обилием чернильных и всяких других пятен, и показала ее собравшимся подругам.

– Господи! Я три года хожу в гимназию, а у меня нет ни одной такой запачканной книги! – заметила одна из девочек. – Как это ты можешь так пачкать свои вещи?

– Это совсем не я испачкала! – чуть не со слезами вскричала Маша. – Оставьте, пожалуйста, мои вещи в покое, что вам до них за дело?

Она сердито вырвала грязную книгу из рук девочки и принялась поспешно прятать все свои вещи в парту.

– Если не ты испачкала книги, значит, они не твои? – не унимались девочки.

– Тебе их дали Христа ради?

– Ты их купила на толкучке?

– Уж если ты покупаешь на толкучке книги, так могла бы заодно купить себе там и шерстяное платье: как это не стыдно ходить в гимназию в ситцевом платье, да еще в таком коротеньком! – презрительно заметила одна из старших девочек.

⁷ Букинист – торговец, занимающийся покупкой и продажей подержанных, редких и старинных книг и других печатных изданий.

В эту минуту в комнату вошел учитель, и разговоры должны были прекратиться. Все девочки очень скоро позабыли и Машины книги, и свои недобрые замечания о них. Но Маша не могла забыть насмешек подруг. Уже много раз приходилось ей страдать от бедности, много лишений уже перенесла она в жизни, но никогда еще бедность не казалась ей такою неприятною, такою унизительною, как теперь. Она тщательно запрятала все свои вещи в парту и не решалась вынимать их оттуда, чтобы не подвергнуться новым насмешкам; она сравнивала свой наряд с нарядом других девочек и стыдилась своего ситцевого платья, точно какого-нибудь дурного дела. Желание ее сблизиться с подругами пропало. Некоторые из них пробовали заговаривать с ней, но она отвечала им так сухо и коротко, что у них пропала охота поддерживать разговор.

В этот вечер в семье Смирновых уже не слышно было веселых рассказов Маши. Она не хотела огорчать родителей, сообщив им о своей неприятности, а говорить о чем-нибудь постороннем у нее не хватало духу. Сославшись на трудные уроки, заданные к следующему дню, она уселась со своими книгами подальше от всех, у маленького столика в углу комнаты.

Отец и мать были каждый заняты своим делом, им некогда было следить за дочерью, иначе они удивились бы, что она так странно принимается за свои трудные уроки. Вместо того чтобы скорее и прилежнее учиться, она перелистывала свои книги, чистила их резинкой и перочинным ножом, завернула переплеты их в белую бумагу, из некоторых даже вырвала особенно грязные страницы.

Благодаря колким замечаниям подруг, она мечтала уже не о том, как бы побольше и получше выучиться, а о том, как бы скрыть свою бедность, как бы выказать себя побогаче. Она кое-как приготовила уроки, заданные к следующему дню, но зато книги ее приняли опрятный вид и не казались купленными на толкучке. Если бы она могла переменить и свое платье! Какое оно на самом деле гадкое! Вчера, только что вымытое и выглаженное, оно еще выглядело порядочным: сегодня оно уж очень смятое, а что будет завтра?!

«И неужели это мне в самом деле придется всегда ходить в ситцевых платьях и все надолго будут смеяться?! Нет уж, надо, чтобы мама как-нибудь сшила мне шерстяное платье: я не хочу ходить в гимназию посмешищем для всех!» – С этими печальными мыслями заснула Маша поздно вечером.

Когда она проснулась на следующее утро, погода была отвратительная. Густые серые тучи покрывали все небо, шел мелкий, холодный дождь. У Маши не было теплого пальто. Она четыре года носила одно и то же драповое пальтецо; теперь оно было до того коротко и узко ей, что она не могла надеть его, и Елизавета Ивановна решила употребить его на теплые платья для младших детей. Маше она отдавала свое собственное пальто. Только его нужно было окрасить, так как от долгой носки оно поржело, и перешить по фигуре девочки.

– Что, мама, мое пальто еще не готово? – спросила Маша, с грустью глядя в окно.

– Нет, голубчик, не готово, – озабоченно отвечала Елизавета Ивановна. – Я дважды ходила в красильню, обещали к завтраму непременно приготовить. Уж я, право, не знаю, как ты пойдешь в гимназию. Надень хоть мою кофту, ничего, что она старая, по крайней мере не вымокнешь!

– Ах, мама, мне стыдно идти в вашей кофте; она в заплатках, да и, главное, сидит на мне так гадко: рукава длинные, ворот мне широк!

– Что же делать, Машенька. Ты знаешь, что мы рады бы радешеньки одевать тебя хорошенько, мы не виноваты, что у нас средств не хватает! Все же лучше надеть хоть гадкую кофту, чем идти по такому дождю в одном платье!

Маша сознавала, что мать говорила правду. Она с тяжелым вздохом надела старую, неуклюже сидевшую на ней кофту и пошла в гимназию, с единственным желанием не встретить никого из подруг. Она шла быстрыми шагами, робко озираясь по сторонам; вот уже и дом гимназии, еще несколько шагов – и она у цели. «Слава богу, не видно никого из гимназисток:

верно, еще очень рано!» Она несколько бодрее пошла вперед, но – ах! – только что она подошла к подъезду гимназии, у тротуара остановились извозчичьи дрожки, две девочки выпрыгнули из них и догнали ее на первых же ступенях лестницы.

– Кто это такой? – вскричала одна из них, заглядывая в лицо сконфуженной Маше. – Смирнова! Что это на тебе надето?

– Оставь ее! – прервала другая девочка. – У нее и книги чужие, и платье, должно быть, также нет своих!

Обе девочки с громким смехом побежали вверх, а Маша, чувствуя себя униженной и оскорбленной, тихо поплелась за ними.

И этот день ее гимназической жизни был испорчен, как предыдущий. Она опять сторонилась подруг, боясь насмешек даже от тех из них, которые неспособны были оскорблять человека за то, что он беден; она опять не могла сосредоточить своего внимания на уроках учителей, не могла избавиться от тяжелых мыслей о своем несчастном положении.

В следующие дни дело шло не лучше. Маша всегда была тщеславна. Насмешки глупых девочек действовали на нее сильнее, чем следовало. Мысль, что она беднее, «хуже» других, страх новых оскорблений не давали ей покоя. Иногда ей приходило в голову бросить учение, перестать ходить в гимназию; в другой раз она мечтала отличиться чем-нибудь особенным и отомстить насмешницам; но чаще всего она придумывала, как бы устроить так, чтобы казаться богатой, чтобы одеваться по красивее и приобрести разные безделицы, которыми хвастались другие.

Не все девочки класса Маши были так грубы и легкомысленны, как оскорблявшие ее насмешницы. Многие из них сами принадлежали к небогатым семьям и умели сочувствовать ближним; другие получили дома хорошее воспитание и понимали, как непростительно насмехаться над бедностью; третьи, наконец, занятые учением, не имели ни времени, ни охоты заниматься нарядами или наружностью подруг.

Они заметили, что Маша девочка не глупая, познакомились с ней и старались сблизиться. В их обществе Маша могла бы очень приятно проводить время, но, к сожалению, в классе находилось пять-шесть человек, всегда готовых напомнить ей ее положение.

– Я уверена, что Смирнова врет, будто отец ее чиновник, – толковали в одном кружке, не замечая, что она стоит подле. – Она, должно быть, просто дочь каких-нибудь мастеровых, оттого она такая и бедная!

– Я бы подружилась со Смирновой, она мне нравится, – говорила одна девочка своей подруге, – только маменька не позволяет мне дружить с дурно одетыми детьми: у них гадкие манеры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.